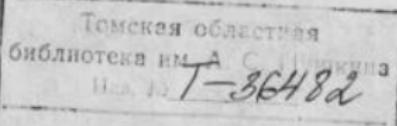


Геннадий БУРМАТОВ

**Единственная
дочь
(Томская трагедия)**

Повесть. Стихи

Томск – 2002 г.



84(2Р)6

Б 91

Бурматов Г. И.

Единственная дочь: Повесть. Стихи/ Геннадий
Бурматов. – Томск, 2002. – 72 с.

Отпечатано в ГУ "Томский ЦНТИ" с оригинал-макета,
предоставленного автором.

Лиц.ПД № 12-0084 от 16.04.2001 г.

Подписано в печать 06.08.2002 г. Заказ № 849. Тираж 100 экз.
Россия, 634021, г.Томск, пр.Фрунзе, 115/3. Тел. (3822) 26-31-69.

Единственная дочь. (Повесть-быль)

В полусотне километров к северу от Новосибирска на левом берегу Оби расположено село Вороново. Оно чуть моложе Уртама, соседнего села, которое отмечено даже на карте Ремезова. Но если Уртам интересен необычно стройными рядами точеных холмов, то в Воронове – первое, что бросается в глаза приезжему человеку, - это небольшие озерца, которые встречаются на каждом перекрестке села. Напоминают они собою собой ставочки Украины.

Вероятно, первых переселенцев привлекали к себе именно эти озерца. Голубые, как окна в небо... А главное, что тянуло сюда природных пахарей, - это плодородные земли, которые прямо от Оби простирались далеко за горизонт, изредка прерываясь небольшими березовыми колками.

Поля эти никто никогда не делил: земли хватало всем. Поступали по принципу: паши столько, насколько сил твоих хватит! И не занимался здесь хлебопашеством лишь тот, кто с детства не был к этому воспитан. Ведь в Сибирь, как известно, попадали люди самых разных образцов морали и норм поведения. Даже иногда и воры... Но последним не удавалось тут широко развернуть свою привычную деятельность. В нашем селе действовали свои, хоть и неписанные, но достаточно жесткие законы.

Согласно постановлению, принятому сельским сходом, дом уличенного в преступлении вора раскатывали весь до бревнышка. Содержимое амбаров выбра-

сывали на дорогу, - на съедение свиньям. Самого вора зрягали в телегу, загружали ее украденными вещами и гнали вдоль деревни. Каждый крестьянин должен был при встрече взять с воза одну из вещей и ударить ею вора!

После такой экзекуции, демократической и эффективной, субъекта, наконец, распрягали и, если он еще оставался жив, вместе с семьей изгоняли прочь из села.

Общественно-культурная жизнь, разумеется, не замыкалась на подобных спектаклях, которые, к счастью, происходили не ежегодно. Как и в любом другом селе, здесь в зимнее время поочередно в домах устраивались посиделки и вечерки, а летом – хороводы в центре села, у озер.

Еще, если пользоваться языком, принятом в нынешней сфере культуры, в селе постоянно действовал и успешноправлялся с обслуживанием всей волости цыганский оркестр братьев Решетниковых. Наши цыгане всегда играли добросовестно и виртуозно, с нарастающим темпом, а под конец игры скрипка Ваньки Решетникова каждый раз резонно заключала:

- Вы – вы – вы – пить!

Хозяин дома выходил с четвертью водки в руке и при этом весело указывая на вспотевшего Ваньку, говорил:

- Гостеньки дорогие! *Скрыпка* велит выпить! Вы уж ее уважьте!

Был в этом селе и свой Дед Щукарь – Иван Андреевич Алтухов.

Качеством, которое делало его предметом юмора, была чванливость зажиточного крестьянина.

Все хозяйство вели его взрослые сыновья Алексей и Трофим, а Иван Андреевич был в усадьбе как бы на правах уважаемого и заслуженного пенсионера.

Имел он и достойную его характера кличку – Богородица.

А прилипла она к нему в церкви. Случилось это так.

Поп обратился к нему как к одному из почтенных прихожан:

- Иван Андреевич! Кому молебен отслужить?

Наш дед, польщенный таким обращением, важно выпячивает грудь и говорит:

- Мне!

Поп снова громко повторяет тот же вопрос.

И снова слышит такой же гордый ответ нашего Ивана Андреевича:

- Мне!

А принято понимать, что молебны служатся определенным святым, но никак не прихожанам.

Поп наклоняется к уху Ивана Андреевича, но зычный голос священника слышен почти всем, стоящим в церкви:

- А ты, что, - богородица?!

Так и пристало к Ивану Андреевичу это меткое прозвище, почти официально данное в церкви. Разве что в книге своей поп не сделал никаких поправок в графе против фамилии Ивана Андреевича.

Был у нашего деда «Россинант», по характеру схожий с хозяином, такой же чванливый, упрямый, привередливый, с неожиданными выходками. Даже сыновья Ивана Андреевича к этому коню никогда не подходили.

Ездил на нем только сам Богородица, и обязательно – с приключениями: конь мог по своим, известным только ему, соображениям, неожиданно остановиться в пути, долго стоять неизвестно с какой целью, а потом также внезапно рвануть воз и понестись вскачь.

Однажды, после подобного его дурного поведения, Иван Андреевич, хоть и был взбешен, но постарался не терять самообладания и даже приступить к, возможно, и позднему, но воспитанию.

Приговаривая: «Ну, погоди, ягнячья мать! Я тя, зныть, умычу!», Иван Андреевич запряг его в огромную водопойную колоду, которая в тот момент была суха, так как вся скотина находилась на заимке. Затем уселся в нее сам и со всей силы хлестнул коня бичом.

Тот рванулся с места и понесся галопом по улице села, словно и не в «лодку»–колоду был запряжен, а так – в легонькие санки!

В колоде сидел Иван Андреевич… Он был очень доволен своим педагогическим экспериментом. Но на повороте колода опрокинулась, а Иван Андреевич оказался внутри нее.

Помяло старика прилично. А через три недели он опять гордо восседал на своем воспитаннике.

А приключения продолжались, как у знаменитого иадльго.

Поехал он однажды верхом по селу, чтобы поглядеть на Обь, а заодно и напоить коня. Заехал в воду шагов на десять от берега. Но конь, верный своему характеру, чванится, пить не хочет.

Иван Андреевич, конечно, возмутился и сказал:
-Так, значит, не будешь пить?! Зачем же я вел тебя сюда?! Ну, погоди! Я тя, зныть, умычу!

Уперся Богородица обеими руками в голову коня и стал давить вниз, к воде. Давил-давил да и сам кувылькнулся в реку через голову коня.

И угораздило же при этом купании присутствовать нежелательной свидетельнице – Маньке Наумовой, которая приходила к Оби за водой и, поднимаясь уже на гору с полными ведрами на коромысле, услыхала често бултыхание в воде. Оглянулась и видит: Богородица барахтается в реке, а конь укоризненно качает над ним головой и тянет, как блудного сына, к берегу на узде, за которую цепко и находчиво держится Иван Андреевич.

А Маньке уже не терпится рассказать всем в деревне:

- Идите скорее за святой водой к Оби! В ней только что Богородица искупалася!

Глядят люди из своих оград, а Иван Андреевич, мокрый, чинно ведет коня за узду вдоль деревни.

Ну, многие, конечно, не преминут пошутить:

- Иван Андреевич! Манька Наумова видела, как вы Обь святили! Теперь наша река – вроде Иордана?!

Эти реплики только добавили жару в душу под мокрой одеждой Богородицы. Свернул он в ворота Наумовых, вошел в дом и обратился к главе семьи:

- Герман Иваныч! Зныть, я уж тебя попрошу: ты уж, зныть, эту свою Жучку привяжи! Она на меня со всего села лай напустила!

Старик Наумов спокойно подошел к окну, взглянул на небо, потом посмотрел на привязанную собаку и сказал:

- Да нет. Все в порядке: она у меня привязана.

- Я говорю не про ту Жучку! Я говорю про Маньку! Она меня теперь на всю деревню, зныть,

опозорила! Всем, ягнячья мать, рассказала, как я сейчас упал с коня в Обь!

- А – а! Теперь и мне все понятно! А то я гляжу в окно и думаю: на небе ни тучки, Жучка привязана и сухая. Откуда же ты такой мокрый взялся?!

В Рождество Богородицы (по церковному календарю – 8 сентября) вечером на лужке у ворот Ивана Андреевича свалился пьяный Васька Низовский. Спать, правда, он пока тут не собирался, потому как был еще навеселе и даже напевал. А так как он был певчим в церкви, то и тут репертуар на его устах сохранялся все еще специфический.

Другой бы мужик, свалившись тут, мог бы затянуть что-нибудь светское. Ну, скажем: «Гуси пали...», или «Здорово, друг, уведомляю...»

А у нашего Васьки все еще сидели в зубах псалмы, оставшиеся от обедни:

- Пресвятая Богородица, спаси нас!

Пропел он так у ворот нашего Богородицы много раз довольно профессионально и мелодично, явно не представляя себе, где и у чьих ворот находится.

Но не даром же в Библии сказано: «Ищите и обрящете, стучите – и достукаетесь!»

Так и тут. Дошло это святое пение и до ушей Ивана Андреевича. Жаль только понял он это выступление Васьки не совсем правильно.

Вышел Богородица за ворота и дал сначала предупредительный залп:

- Так ты еще долго тут будешь меня поносить, ягнячья мать?! Я же тебя, зныть, умычу!

Однако концерт продолжался в том же ключе, и пришлось Богородице идти в дом за ухватом. Вынес он этот рогач, как двустволку, и начал потчевать им артиста под бока, приговаривая свою любимую фразу:

- Вот я тя, зныть, умычу! Будешь еще поносить меня? Будешь? Сказывай! А то умычу!
- Б-больше не буду, - промычал Васька уставившись жалобно на ухват.

Трезвея от побоев, начал оправдываться:

- Иван Андреевич! Я же не знал что возле тебя свалюсь... Ну, а то, что пел... так это же... такая моя служба в церкви! И день сегодня... п-престольный!

Наш Богородица великодушно опустил ухват, но в назидание произнес:

- А ты знаешь, что... «дикого попа – в алтаре бывают»? Зныть, должен знать!

Если говорить о культурной жизни села, то она, конечно, не ограничивалась «выступлениями» Богородицы.

Была попытка у наших крестьян создать даже свой, самодеятельный театр в селе.

Произошло это, разумеется, не без внешнего влияния.

С германской войны солдаты-вороновцы привезли целую театральную постановку про Стеньку Разина.

Текст был в стихотворной форме, и поэтому никакой записи пьесы на бумаге не было: самодеятельные артисты все помнили наизусть.

Ставили этот театр поочередно в домах крестьян. Каждый крестьянин считал для себя за великую честь пригласить артистов, чтобы у себя дома иметь удоволь-

ствие посмотреть спектакль, который, как нынешняя музкомедия, был насыщен юмором, песнями и танцами.

Слухи о нашем театре дошли аж до Томска. А в конце двадцатых годов оттуда пришла грозная команда: спектакли прекратить, театр – распустить!

Мотивировалось это тем, что, как оказалось, - наш Стенька был недостаточно подкован, если вдаваться глубже в идеально-политическое содержание пьесы; и на новых путях к коммунизму он оказался вредным попутчиком, хотя в глазах честных крестьян выглядел любимым и признанным героем.

Пришлось нашим артистам «распуститься», то есть ограничиться песнями типа «Как родная мать...».

А сцены в стихах из «Стеньки» еще долго и ярко оставались в памяти людей, жизнь которых сама начала развиваться по суровым законам драматургии: *наступила коллективизация*.

В колхоз вороновцы вступили все «дружно». Иначе и быть не могло: крестьяне по одному входили в кабинет, где уполномоченный «двадцатипятитысячник» при каждом новом посетителе проигрывал одну и ту же сцену: сначала вынимал из кобуры револьвер, демонстративно клал его рядом со списком, а уж потом спрашивал:

- В колхоз вступать будешь?!

Кто же тут ответит «нет»?!

Каждый соглашался, со страхом поглядывая на револьвер.

Правда, после такого «вступления» многие оставляли свои дома и убегали прочь из села.

Добрые люди советовали и моему отцу уехать. Но он очень любил свое село и эти озерца, чистые и голубые.

бые, как окна в небо. Показывая на «лесенку» своих детей он говорил:

- Да куда же я поеду с этой «бороной»? От живого искать мертвое?

Он любил технику и в колхозе ему поручили ремонт сельхозинвентаря.

В первый год после образования колхоза в Вороно-во, почти так же, как и сейчас, из Томска приезжало очень много разных инструкторов со всевозможными «деловыми» рекомендациями, вроде:

1. Строить одни пасеки.

2. Сеять только «рожь и жито».

Ко всем этим советам наши крестьяне относились с почтительной иронией.

И все-таки на одну из подобных идиотских «удо-чек» они клюнули.

Дело в том, что они всегда были рачительными хозяевами, а тут как раз один такой пропагандист и преподнес им очень уж интересную «концепцию», главной изюминкой которой была... экономия.

А экономию ниши мужики всегда уважали.

Если же конкретизировать выданную им идею, то партийный инструктор предлагал им завести... верблюда!

Экономичность этой скотины для Сибири невиданная: ест и пьет она — один раз за две недели! А силы намного больше, чем у коня!

Ну, наши крестьяне быстро сформировали, так сказать, командированную группу (в одиночку схать никто не соглашался: все-таки верблюд зверь незнакомый,

и неизвестно, как он встретит сибирских гостей), и поехали наши делегаты в Казахстан.

В общем, они там удачно купили достаточно нормального верблюда. А убедились в его нормальности только тогда, когда уж садились с ним на поезд. На станции многие случайно встречавшиеся кыргызы, глядя на него, говорили:

- Якши тээ! Якши!

А в Воронове для него уже сделали огромные сани. Запрягли в эти сани верблюда и уселись в них всей бригадой.

- Но! – кричат ему, как коню.

А он и горбами не ведет!

Наверное, в Казахстане на него так никто не кричал.

Крикнули еще раз «Но!» плюс с привычным матом, а он взял да и лег на снег! Лежит как собака!

Тут сидящий впереди огrel его бичом: хватит, мол, лежать. Не для того тебя купили!

Верблюд спокойно повернул голову на длинной драконьей шее и так метко вмазал огромный, как мыльная пена, плевок прямо в лицо обидчику, что залепил ему глаза! Тот уронил бич и, матерясь, начал вытиратся рукавом.

Сидящий рядом подобрал бич и повторил ту же административно-командную функцию. Верблюд так же спокойно повернул голову к этому претенденту на управление и так же метко наградил его той же памятной медалью.

Сдав сдачи, верблюд выразился диким, непривычным для сибиряков, продолжительным ревом.

Какие еще хулиганские выходки можно было ожидать от этого зверя — никто не знал. На всякий случай все кинулись из саней врассыпную.

А верблюд еще долго лежал на снегу и ревел на всю деревню так, что кони, запряженные в возы, на пути к дому еще издали заметив *нечистую силу* в родном селе, свертывали и кидались прочь, не разбирая дороги.

Подошло время пахать, и вреблюдом уже никто не интересовался. Оно, конечно, по хорошему, надо было бы увезти его обратно в Казахстан. Но для этого надо было отрывать от работы людей, опять группу, а не одного: страху немало нагнал он на вороновцев своими хулиганскими выходками. В общем, некогда было сейчас этим заниматься.

Итак, верблюд пока гулял по привольным вороновским полям. А ведь он все-таки был домашним животным. И, кажется, ему даже было стыдно вот так болтаться без дела, когда все люди работают в поле. И он тянулся к людям. Однако конь проявлял к нему совсем противоположные экспрессии чувств.

Заметив это страшное существо, конь вместе с плугом, как кот, летел прямо в кусты. И несся по кустам до тех пор, пока плуг не зацепится, как якорь, за какую-нибудь толстую лесину. Тогда уже останавливался и конь, одичало поглядывая из кустов на верблюда.

Колхозник отгонял подальше с поля нежданного гостя, потом лез в кусты и выпрягал коня. Затем, уже с помощью других мужиков, выволакивал из кустов и плуг, который теперь зачастую нуждался в ремонте.

Что-то надо было придумать, и наши крестьяне нашли, наконец, верное средство упреждения подобных

аварийных ситуаций. При каждом пахаре поставили они мальчика-часового, который зорко наблюдал обстановку на поле.

Завидев знакомого уже нам зверя, мальчик кричал:
- Иван!!! Выпрыгай коня!!! Верблюд идет!!!

Пахарь очень оперативно, как на войне, выпрыгал коня, вскакивал на него верхом, и конь, навострив уши, тут же уносился за горизонт!

Так были спасены плуги от полного уничтожения!

А над селом нависали новые тучи, пострашнее верблюда.

13 мая 1935 года в очередном постановлении ЦК ВКП(б) планировался конкретный признак врага в селе. Это должен быть... «подкулачник, проникший в колхозы...».

Таким образом, проработав в селе пять лет, мой отец был арестован и отправлен в тюрьму райцентра Кожевниково. Через некоторое время туда же отправили всю семью.

Вот как рассказывала об этом моя мать:

- Несколько суток продержали нас в кожевниковских амбарах. Днем выпускали на прогулку только младших детей. Шестилетний Минька с такими же парнишками выходил побегать на площадку перед амбаром.

Вместе с ровесницами, бабарыкинскими девчонками, выпускали погулять и мою восьмилетнюю Гланюшку. У нее были такие красивые светлые кудри. Они, как длинные свежие стружечки, вывевались из-под платочка на ее плечи.

Старших моих ребят: одинцатилетнего Сережу, четырнадцатилетнего Петю и, конечно, семнадцатилетнего Шуру – из амбара не выпускали. Наверное, боялись, что они убегут.

Шла середина октября. По ночам в амбаре было очень холодно. Дети мои спали на полу, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться.

В последнюю ночь и я не спала: Минька всю ночь хныкал, а я, как могла, успокаивала его. Накануне он, играя с ребятишками у амбара, качался на «качели» – доске поперек бревна – и придавил ею палец. Наверное, косточку повредил: палец распух и всю ночь не давал ему покоя.

Утром нас погнали на пристань, в баржу.

Сюда же привели из тюрьмы наших мужиков. Посадили их в том же трюме, только отдельной кучкой и под отдельной охраной.

Минька сидит по-прежнему со мной: больной палец не дает ему покоя и он тихонько плачет.

А Гланюшка выходила с другими девчонками погулять на палубу. Там уж мокрый снег падал. Палуба начинала тонким слоем льда покрываться...

И вдруг слышим:

- Бурматовы!!! Ваша девочка тонет!!!

Отец рвется наверх, а стражники облепили его со всех сторон, держат. У них одно на уме: как бы он не убежал!

Стряхнул он их с себя, как котят, и бросился к лестнице, наверх. Но один из стражников ударил его приставкой по голове...

И снова скрутили Ивана, крепко связали веревками...

Но меня пропустили.

Выбежала я на палубу. Снег кругом мельтешит – сразу ничего и не увидишь.

Бабы мне показывают:

- Вон она плывет!

Вижу – точно: вот она – моя Гланюшка! Несет ее, бедненькую, стрежь обская. Ветер дует сиверный, встречный. Огромные волны захлестывают ее. А она от каждого удара волны – ладошкой лицо закрывает. Потом смахнет со лба брызги вместе со снегом и даже... дальше плыть пытается...

А стрежь ее несет, не отпускает...

Снег повалил гуще и скрыл от меня мою дочь...

Рванулась я вперед, готовая броситься в Обь за Гланюшкой следом. Но бабы меня обхватили с двух сторон и держат. И все вместе ревут...

А сквозь их рев и буран слышу я как-будто Гланюшкины стоны:

- У – у – У – у – У! У – у!

Вдруг снег так же неожиданно перестал, как и начинался.

Видим мы: пароход идет снизу навстречу нам и гудит:

- Ту – у! Ту – у! Ту – у!

У меня до сих пор в ушах – его гудки: так жалостно гудел он, словно жалел моего ребенка!

А звали тот пароход – «Тихонов». И происходило это все – напротив Богородска. Это село за нашу жизнь как только не называли: и Шегаркой, и Мельниковым.

Я потом еще много лет, как услышу гудки «Тихонова», так реветь начинаю...

А тогда «Тихонов» причалил к нашей барже и передали нам Гланюшку - живую, да смертельно застуженную.

Матрос парохода нам рассказывал:

- Услышали мы крики с вашей баржи и замедлили ход. И ребенка заметили в воде. Подплыли мы ближе и протянул я ей свой шест, которым дно месяял. Схватилась она за него. Крепко держится, не отпускает. Хотел я ее таким образом на шесте из воды вытащить. Стал поднимать шест, а у нее руки по шесту скользят: но же льдом уже покрылся! Спустили мы с парохода лодку и подобрали девочку. А она от шеста не отрывается...

Замотала я Гланюшку в свою старую шубенку. Еще разными одежонками укрыла – лишь бы согреть. А в барже – почти так же как и на улице, – только ветра нет. Холода.

Всю ночь она просыпалась и вскрикивала:

- Мама! Где я? Я – с тобой? Я не утонула?

Я как могла, успокаивала ее:

- Со мной, Гланюшка! Со мной, пташка моя бедненькая!

Обычно я числа – что, когда происходило – плохо помню. Но тот день нельзя не помнить: это был Гланюшкин день рождения – 25 октября 1935 года. Последний день рождения в ее жизни! А исполнилось ей всего девять лет...

А нас все везут...

Наконец, остановилась баржа, вышли мы из нее и пересели на лодки. Наши мужики идут берегом и тянут лодки бечевой вверх по течению. А река эта *Шуделькой* зовется. Кругом – тайга непроходимая.

Шли мы так еще двое суток.

Но начальство посчитало, что Шуделька для нас – слишком большая честь. И погнали нас еще глубже в тайгу вдоль речки *Каршана*. На нем очень много завалов леса. Наши большие лодки по нему уже невозмож но было тащить. Шли мы еще весь день.

К вечеру пригнали нас в таежный поселок *Овражный*: в овраге он располагался. А кругом – тайга, в небо – дыра.

Тут уже жили те, кто был сослан сюда во время коллективизации. Но когда мы прибыли, их уже мало оставалось: кто – поумирал с голоду, кто – убежал.

Один старик с наших лодок так и сказал, указывая на поселок:

- В *Издыхаловку* нас привезли! В *Издыхаловку*!

Этот старик потом одним из первых от голода помер. Но до того, как помереть ему, мы еще раз его видели: пала такая же голодная, как и мы, лошадь. Так ее начальство велело облить керосином и закопать. А этот старик все ходил кругом и жалобно просил:

- Дайте хоть перед смертью кусочек пропастинки! Дайте!

...А люди мрут с голоду...

Рядом у коменданта на подворье свиньи пасутся, выходят на улицу, под ногами мешаются. Из окна комендантского дома кошка выглядывает. Кошка! Единственная кошка в поселке! Как взгляну бывало на нее – так за сердце берет... Картина чьего-то домашнего уюта... За что же мы его лишены?

Четверо моих детей на нарах лежат, стонут: есть нечего...

А по улице разгуливают комендантские свиньи...

Один наш соседский парень, идя утром на работу, запнулся за лежащую на дороге свинью. А в руке у него был топор: он шел корчевать. Голодный и злой от падения, он тут же зарубил комендантскую скотину! Его арестовали и отправили в тюрьму.

Позже он нам писал в письме: «Отсидел я в тюрьме шесть месяцев. Теперь живу в Тогуре. Работаю на лесозаводе. Числюсь под комендатурой, но во всем остальном — живу наравне с вольными. А главное — хлебушко есть. И за свиней больше не запинаюсь!».

Шура наш тоже однажды в горячах кинулся с топором на председателя. Но Ванька Паризек, с которым мы вместе в бараке жили, перехватил у него топор.

После этого случая напуганный председатель отдал Шуру под начало Ваньки и больше к Шуре не приставал, как будто моего сына для него и не существовало.

А Ванька был рад взять к себе в напарники такого отчаянного парня: работа у Ваньки была особая, рисковая. Он лазил по пихтам и срубал ветки: заготавливал их для завода, где варили пихтовое масло. Залезет до самой макушки и, потихоньку спускаясь, срубает все ветки.

Вот и Шура и с ним начал вместе работать. Безо всяких там когтей железных и поясов. Сорвись, убейся — и никто за тебя отвечать не будет!

За это им давали пайку чуть побольше. Шура ее приносил Гланюшке. А еще они с Ванькой приносили домой пихтовое масло: мы его с голоду применяли вместо подсолнечного — макали в него корки Шуриного пайка.

Обувь у Шуры на такой работе быстро износилась. Но Ванька Паризек и здесь проявил хитрость. Выпро-

сил он у вольных чалдонов в соседней деревне Ельцовке лосиную шкуру и сделали они с Шурой *постолы*, точно такие, какие делал его дед, когда еще жил у себя на родине – на Карпатах.

Еще до первой мировой войны он переехал оттуда на Кавказ, в район Новороссийска. А Ваньку с родителями, братьями и сестрами пригнали на Каршан еще года за четыре до нас, и жили они в то время в землянке, а потом их вместе с нами в бараке поселили. Всего в нем размещалось пять семей. Просто длинный барак, и никаких перегородок в нем не было.

В семье Паризеков к этому моменту оставалось из девяти привезенных всего три человека: мать, Ванюшка и Станька. Этот Станька был на год моложе нашего шестилетнего Миньки.

Сама Паризечка рассказывала:

- Там, на родине мы жили богато. Мельница своя имелась и золото у отца водилось. ГПУ его прижало: «Давай золото!» Но выкопал золото и отдал. Но этим не откупился: все-равно сослали!

«Когда прибыли сюда, - часто повторяла Паризечка, - девять человек семьи было. Шестеро умерли здесь от голода, в том числе и отец. Все лежат тут, в Овражном».

Сама Паризечка была еще на редкость крепкая. Бывало, зимой выйдет из барака за дровами или за бельем босиком, а вернувшись, как кошка, отряхивает снег с голых ступней и пальцев.

А Гланюшка наша, как только попали мы в Овражный, сразу слегла: заболели легкие.

Правда, когда наступили сухие морозы, кончилась слякоть, дочка моя чуть-чуть ожила. Вставать и ходить стала.

И очень захотелось ей в школу. Она ведь и в первый-то класс пошла у нас с шести лет: любила учиться.

- Может, пропустишь этот год? – просила я ее, –

Хватит ли у тебя здоровья, чтобы догнать?

Но она пошла в школу. В третий класс.

Но ходила недолго... Снова слегла и уже больше не вставала.

Лечить было некому и негде. И нечем. Тут бы питание получше! Да какое там «лучше», если люди мрут с голода!

Не дай бог никому! Нет ничего страшнее, чем видеть, как твой девятилетний ребенок, который, как деревце, только начал тянуться к солнцу, вянет и медленно угасает на твоих глазах!

А ты ничем-ничем не можешь ему помочь!

И только плачешь над ним...

И мать в который уже раз заплакала, надолго...

Дальше рассказывал мой отец:

- Долго плакать не давали. Всех на работы гнали. Как началась зима, дали мне особу плотницку работу: *сани ставить*.

Оно, сначала спросили: кто умеет?

Может, окромя меня и нашелся бы кто – если бы кто сказался из сибирских крестьян. А то ведь понагнали: «с Камы, с Волги, с быстрых рек».

Чечен был, армянка, белоруска, молдаван Грицан. А еще многие – от самого Черного моря: Томасеки, паризеки...

Какие у них там сани?!

Правда, Орловы были пригнаны с Алтая. Да ведь – такая нищета, что и кошку-то свою имели ли?! Где уж там – сани ставить?!

Ну, я взялся. Дело знакомо, ставлю сани.

С утра до ночи работаю. Голодный.

И еще больше ослаб. Приду домой, открою дверь и упаду на пол...

Совсем обессилел. Ноги отекают и не двигаются.

Вот я и говорю сам себе: «Что ж ты, Ванька, думаешь своей головой? Тебе же смерть путь кажет! Решай, пока не поздно!»

И сказал я Любаве:

- Если буду дальше здесь оставаться – помру. И вам без меня – не выжить! Надо уходить. Сначала пойду я один. Найду жилье, лошадь. Разведаю дороги и тогда перевезу всех. А пока Гланюшку в такой мороз рисково везти неизвестно куда.

Стал я готовиться в путь. А Любаве и собрать-то мне в дорогу нечего.

Положила она мне в мешок подушку – может, выменяю где на хлеб. Больше – ничего!

Вышел я из дома в буран и молюсь богу, чтобы снег не переставал, следы мои заметал – стражники не найдут!

Следы-то заметает, но и дорогу тоже заметает!

Но я иду по Каршану. Там, где он подо льдом течет – как просека в тайге: не собьешься!

Потом и буран перестал. Месяц светит. Чего бы не идти!

А меня вдруг куричья слепота одолела Ничего не вижу!

Нет, думаю, надо отдохнуть. Может, пройдет.

Хоть и рисково тут у поселка «отдыхать»: Поймают «отдыхающего».

И все-таки что-то делать надо.

Лег на снег. Подложил мешок с подушкой под голову: вот где она сгодилась, подушка та! Сразу же, на дороге!

Лежу. И в сон меня начинает клонить. Опять плохо: можно уснуть и совсем околеть.

Надо вставать. Поднялся.

Слава тебе, богу! Теперь вижу глазами!

Не совсем, значит, ослеп!

Пошел дальше. Иду.

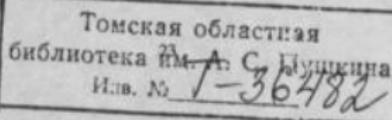
Иду и только об одном молю бога: как бы снова не напала на меня эта куричья слепота!

Дошел до Инкиной. Там у меня был хороший знакомый, из чалдонов. Звали его Егор. Объяснил я ему все как есть. Убегаю, мол.

Покормили они меня. Картошек дали, хлеба. Показали дорогу дальше. Вышел я из Инкиной. Спустился с горы. Иду по дну реки Шудельки.

Оглянулся: с горы ведут этап. Длинный – конца не видно. Кто арестанты, спрашиваешь? Да больше – мелкие служащие разные: председатели, бригадиры, бухгалтеры, счетоводы, нашего брата – рядового крестьянина я бы сразу узнал. А тут – кто попал за растрату, а на кого и по злу настучали. Время такое было: всех мели.

Конвой: один верхом едет, за ним двое с винтовками идут впереди арестантов. И сзади также: верховой, двое пеших с винтовками. А замыкает этап пара коней, запряженных в кошовку. Начальство.



Ну, пока они еще не подошли ко мне, надо скорей сообразить, что ответить им, если спросят...

Догоняют. Я – в сторонку. Забрел в снег. Стою.

Проходит этап.

Замыкающий его верховой кричит мне:

- Куда, гражданин, путь держишь?

Я отвечаю:

- В колпашевскую тюрьму.

- Зачем?

- Принудительные работы отбывать.

- За что?

- Возил я бревна. Лошадь ногу сломала – обвинили меня. Шесть месяцев принудиловки дали.

Верховой оборачивается к своему начальнику, который ездит в кошовке, и говорит:

- Раз он тоже идет в тюрьму – надо его в строй со всеми!

А начальник – ему:

- Да зачем его – в строй! Это же будет для нас еще один лишний едок! Да и на ночлег его потом вместе со всеми устраивать придется. А так – он идет сам в тюрьму! Ну и молодец! Пусть идет!

Пошел этап дальше.

А я даже в снег присел: чуть-чуть с собой не прихватили!

В «мою» тюрьму, конечно, не посадили бы, но уж точно – вернули бы в Овражный. Жди потом новый случай убежать...

Как только этап исчез из виду, побрел и я за ним.

И кто их знает, вдруг изменят решение, поставят в строй!

И не за себя боюсь: больная Гланюшка, голодные
дети, все ждут моей помощи...

К вечеру прихожу в Иванкино.

Куда ни постучусь – везде арестанты на ночлеге.

Вижу: мужик-остяк погнал коней к озеру, поить.

Я – к нему:

- Возьми, хозяин, на ночлег!

Но он мне говорит:

- Нет польше места! У меня арестанты спят!

Сказал он так, но не уехал, а подумал и говорит:

- вон витиши, испа отна у клатпища стоит? Там
никого нет из этапа. Мозет, пустят!

Пошел я на кладбище.

Вижу: правда, стоит тут на отшибе один дом.

Захожу. Дома: хозяин, хозяйка, двое ребятишек.

- Можно перnochевать?

- Мозыно. Мозыно. Ночуй!

Присел я на рундучок у печки. Положил мешок с
подушкой рядом.

На улице падера поднялась – вся крыша скрипит, в
трубе завывает.

А меня от тепла и слабости стало ко сну клонить...

Вдруг – слышу голоса за дверью. Уж не из этапа
ли?

Открывается дверь: в избу заходят гурьбой осяц-
кие парни и девчата. Тут я понял – вечерка у них!

Какие песни у них, спрашиваешь? Какие танцы?

Не до песен-басен мне было! И не до танцев-
баранцев!

Я, правда, и нерусские люблю песни слушать: та-
тарские, латышские, гуцульские... но это когда у самого

спокойно на душе! А тогда мне было не до них. Мне, голодному кандидату в этап...

Да тут хоть черти пляши – все равно бы не разглядел их!

Заснул я...

И снится мне, что пробираюсь я по ледяному откосу берега реки. Внизу – луга, а сверху целятся в меня стрелки. Бах! И пуля больно ударяет в бок! Я срываюсь и падаю на льдину тем же боком. Скатаюсь с нее и оказываюсь в воде. Следующая лыдина острым углом тычет опять в тот же бок.

А стрелки стоят на яру и хохочут...

Наконец я проснулся...

Оказывается, это хозяин-остяк давно уже пинает меня:

- Эй! Краптанин! Теньки есть за квартиру?

А за окном все так же дико визжит падера...

- Да ведь, ты, хозяин, про деньги сразу, как я вошел, и не спрашивал... А денег у меня...нет ни копейки.

- Если нет – выходит! Витиш – ружья висят! Буту стрелять! Стрелять буту!

Тут он показал на ружья, висевшие на стене.

Хотел я кинуться первым на него: пока он будет дотягиваться до ружья – я обхвачу его руками и, если будет недостаточно сил задушить его – то, скав пальцы в замок за его спиной, буду до бесконечности держать его и не дам ему выстрелить в меня...

Но какие последствия будут потом?

И уйду ли я потом свободно из этого поселка?

Наверняка окажусь в том строю...

А меня ждет Гланюшка, смертельно больная и голодная!

И мне представилось ее худенькое и бледненькое лицико, белое, как подушка...

Подушка!!! У меня же есть подушка!!! Последняя ценность в моем нищем мешке!

И я сказал осятку:

- У меня нет денег... И ничего у меня нет. При этих словах развязал я мешок и достал подушку. - Вот - только одна подушка и осталась! Может, возьмете ее, как плату за ночлег?...

Взял он мою подушку.

Посмотрели они с женой, покрутили, побалякали по-остяцки...

Потом он говорит:

- Ну, ложись, теперь, спи!
- Значит, «сторговались»...

Лег я снова, как собака, которой приказано лечь, но неизвестно, какая команда следующая поступит...

И, конечно, уже больше не заснул. Все глядел на ружья, развешанные на стене...

...Утром выхожу с пустым мешком, свернутым в трубочку.

Падера кончилась. Солнце встает над заснеженной Обью.

Вчерашний осятик опять гонит коней поить.

Поравнялся со мной, спрашивает:

- Ну, как ночевал?
 - Спасибо. Хорошо ночевал... Слушай, хозяин!
- Будь добрый, у тебя нельзя ли чего-нибудь поесть?
- Конечно, можно! Пойдем в избу!

Заходим. У них – целое застолье: вся семья завтра-
кает. Посадили меня. Ширбу наливают. Самовар стоит.

Хлеба мне подкладывают. *Много хлеба...*

Я ем, не стесняюсь...

Смеется этот осяк:

- Так, значит, ковориш, коросо ночевал?

Ну, я ему все и рассказал, что было ночью...

- Ой –ей-ей! Как он тепя не упил! Как он тепя не
упил! Он ведь дальсэ этого мокильника никте не пыл!
Ситит, как ворон, на мокиле и паталью питается. И
телать ничего не умеет, только вечорки гуляет! Тевки
и парни теньки ему платят Как он тепя не упил!
Сисливый ты! Сыть только путешь!

Смеется осяк. И, понимаю, не надо мной смеется,
а радуется вместе со мной тому, что я, жалкий бродяга,
каким-то чудом все еще жив, хотя меня, как затравлен-
ного волка, может подстрелить каждый встречный
охотник...

Как видишь, разные осяки бывают, как и все на-
роды...

К вечеру я пришел в Тебенак, - название, вроде бы,
остяцкое, но живет тут много русских.

И опять – арестанты все заняли.

Село длинное, в одну улицу. В самом конце села
захожу в крайнюю избу.

Вижу: из этапа здесь никого нет.

- Можно у вас переночевать?

- Да ночуй!

Присел я, как и раньше, на рундучок у печки.

- Ты откуда?

- С Каршану...

- Куда идешь?

- В Колпашево. Принудиловку отывать. Лошадь пала...

Но хозяину, кажется, нет дела ни до моей «лошади» ни до «принудиловки».

Он кричит в кухню:

- Старуха! Покорми мужика!

Потом обращается ко мне:

- А ты сам-то откуда родом?

Ну, я говорю, как есть. Из Вороновой, мол...

- А ты Семена Воронова знаешь? – оживленно спрашивает хозяин, - За моим сыном замужем их Дуняха – Семена Воронова дочь! А Семенушка с семьей живет в Тогуре. Ты, прежде чем свою принудиловку начнешь отывать, зайди к Семену. Поклон от меня ему сказывай!

- Знаю, - говорю я весело, - И не только знаю, но Семен нам некоторой родней, хоть и дальней, но доводится!

Семья Семена убежала из Воронова еще в начале коллективизации. Они и на родине занимались только рыбалкой, а тут, в рыбном kraю, их профессия как раз оказалась кстати. Вот ты сам был нынче в Тогуре. Заметил: внук Семенушки – Иван – нынче уважаемый и почетный в Тогуре директор школы? А посмотришь со стороны – ну, настоящий чалдон! И все отпуска на рыбалке пропадает!

В общем, жили они тут в то время неплохо.

Отдохнул я сутки у Вороновых, обирялся маленько и стал думать, что делать дальше.

Надо было искать поденную работу: позарез нужны деньги для голодной семьи. А потом надо копить деньги на покупку коня, чтобы ехать за Гланюшкой.

Семен мне посоветовал:

- Поденной работы много в Колпашеве: каждый день нужны грузчики на торговых базах. Есть у меня, - продолжал Семен, - еще один там знакомый, хороший человек. Ученый. Полежаев - его фамилия. Он ко мне недавно заезжал, брал у меня чучело филина. Дело в том, что он впервые организует в Колпашеве *окружной краеведческий музей*. Требуется ему плотник для ремонта помещения. Для этого дела звал он моих внуков, да им сейчас не до него: к концу зимы рыба неплохо ловится – только лунки долби! А ты ему пригодишься!

Да ты не бойся! Он тебя не выдаст! Добрейшей души человек! Настоящий профессор!

Закончишь у него работу в музее – не пропадешь: есть в Колпашеве еще один спаситель: *Анискин!* Запомни: Анискин! Он там – начальник *гортопа*. У него многие, такие же беглые как и ты, устроились дрова пилить.

Не бойся, он тоже не выдаст. Этот человек – настоящий герой, достойный медали «За доброту». Жаль только, никогда, видно, такой медали не будет... А приехал он сюда следом за сосланной сестрой с Алтая. Приехал сам, чтобы помочь ей в трудных условиях: ведь у нее – куча детей – один другого меньше...

И вот поселился я прямо в музее у Полежаева в Колпашеве.

Полежаев тут был и заведующим хозяйством, и научным работником, и столяром, и он же делал чучела зверей и птиц.

Интересный получился у него музей: и медведи, и волки, и лось, и олень, и лисицы, и змея на пеньке сидит, и оstryк на лыжах стоит... Хороший музей.

Я приступил к работе — она мне знакома! Где — новую плаху подогнать, где — бревно подвести вместо сгнившего.

Все печи натапливались докрасна, а в помещении было холодно: хоть волков тех морозь!

Я спал на диване в кабинете Полежаева и не знал, как согреться, хотя на ночь укрывался несколькими медвежьими шкурами.

Собака Полежаевых находилась со мной в кабинете, на расстеленной на полу под письменным столом шкуре и тоже дыгла, всю ночь выла, не давала спать.

Я вставал и укрывал ее медвежьими шкурами.

Но вой не прекращался...

Сам Полежаев, занятый своими научными делами, просил меня отыскать то место, где это может дом так сильно промерзать.

А искать и не надо было: по поведению собаки можно было догадаться, что холод идет из-под пола.

Оторвал я топором две половицы и спустился в подпол.

Батюшки! Да там все окна подвала остались на зиму открытыми настежь! Полежаев, видно, за своими научными делами этого и не заметил. С уличной стороны намело высокие сугробы и скрыло бесхозяйственно брошенные открытые окна.

Как тут быть? Отгрести от этих окон снег? А сугробы выше человеческого роста! И сколько работы предстоит, чтобы пройтись с лопатой вокруг всего зда-

ния?! И какими медвежьими шкурами заткнешь всю эту массу окошек?

И я решил сделать проще. Взял лопату и снова спустился в подпол. Там земля хоть и промерзла, но — на тонкий слой. Копай, сколько угодно.

Я и начал заваливать землей все окошки.

В следующую ночь я, наконец, спал спокойно: собака больше не выла! К утру она даже сползла с медвежьей шкуры на голый пол и растянулась на нем.

Полежаев тоже скинул с себя шубу, с которой он не расставался ни на минуту.

Кроме работ по ремонту музея, я ходил на торговые базы и выгружал товары с обозов, и на обозы грузил.

Бывало, просили и там сделать кое-какой ремонт.

Первую, заработанную таким образом, десятку я в тот же день отправил переводом семье.

Приотправке на почте придумал себе «фамилию»: назвался *Борзуновым*. Такую фамилию носил муженек Любавиной сестры, который еще до коллективизации убежал от нее куда-то в Ташкент.

Но я был уверен, что Любава поймет, что перевод пришел от меня, а не от того *помешественника*!

- Да,- сказала вступила в разговор моя мать, - как только мы получили ту первую десятку, я сразу поняла, и все мы обрадовались, что Иван наш жив и свободен! Как сейчас помню ту спасительную десятку!

Мы тут же, вместе с Петей и Сережей, пошли за четыре километра в Ельцовку и купили там у чалдонов хлеба и рыбы.

Наварила я первый раз ухи и покормила Гланюшку.

Потом денежные переводы от Ивана стали приходить часто и кончился наш голод.

И Гланюшка еще смогла дожить до весны, до теплого солнышка, до первых листочек...

Иван в каждом письме писал: «Не горюйте! Скоро я вас выручу!»

А Гланюшка уже тяжело болела.

Как прочитает Петя письмо от отца, так она, как взрослая, тихо начинает плакать:

- Я умру, а вы - уедете... Меня тут одну оставите... Буду лежать одна в тайге... И к могиле моей никто из вас никогда не придет...

Вот как она все понимала...

А было ей всего девять лет...

Помню, в последнюю ночь мне сон приснился.

Кысочка, такая беленькая *кысочка*, ходит со мной по огороду и трется мне об ноги. И мякает, так жалобно мякает. Есть просит. А у меня нет для нее ни крошки!

И забор кругом – такой глухой и высокий! Конца не видать... Хотела я ее погладить, пожалеть, а она вдруг кинулась бежать от меня и спряталась за грядку...

А грядка та – высокая, как... *могила*.

Звала я, звала *кысочку*, но она так и не вышла ко мне...

Проснулась я и повернулась к Глане: она всегда со мной рядышком спала, только с краюшку, - не могла уже у стенки лежать: лихо ей было в последнее время. В жару вся, горит. Температура...

А спала она на бочку, и ладошку – под щечку.

Повернулась я к ней: лежит моя Гланя на бочку и весеннее солнышко ей в лицо светит. И ладошка, как всегда, под щечкой.

Хотела я ее погладить, а она – холодная...

Померла!...

Так вот куда убежала во сне моя *кысочка*!...

За высокую, высокую грядку – могилу...

Тут, в этой проклятой тайге!...

Единственная моя доченька!

Уж лучше бы мне сейчас самой умереть!...

Горе наше, горе!...

Разбудила я всех ребят...

После полудня мои пошли могилу копать, а я стала мыть Гланюшку в *сельнице*, - большом корыте. Осторожно перекладывала ее с боку на бок, как живую... А когда переложила на спинку, вдруг у нее из грудки какой-то... стон раздался!

Обомлела я... Даже почти, обрадовалась... К ее грудке ухом прижалась. Думала, вдруг – оживет!...

Но ничего больше не услышала...

А оторвать ухо свое от ее грудки... никак не могу...

Бедная моя пташка!

И слезы в сельницу текут... Больше, чем воды их там, наверное, набралось.

Потом уж не помню, как пришла с работы Паризечка и помогла мне домыть и одеть Гланюшку...

Назавтра соседские девочки принесли из лесу первых весенних цветов и вплели ей в косу ленту...

Лежит моя Гланюшка, большая вытянулась, как... девушка.

А ей - всего девять лет!

День такой солнечный стоит. Тепло. Первое летнее тепло...

А мы хороним...

Ребята несут гроб и плачут молча...

Один только Минька, как заглянет в могилу, так кричит:

- Вы зачем такую глубокую яму выкопали?! Вы зачем... такую... глубокую... - он закрывает ладошками свое лицо и ревет по-детски на все кладбище...

Осталась у меня от Гланюшки, как память, одна только ее ладошка, обведенная карандашом на листке бумаги...

Да еще, когда она лежала умершая, отрезала я на память прядь ее волосок. Красивые у нее были кудри...

Фотографии, говоришь?... Какие в ссылке фотографии!

Мать достала из сундука белый тряпичный узелок и развернула. Там лежали светлорусые кудри. И такие они были свежие, - как будто только что торезанные...

А мать продолжала:

- Похоронили мы Гланюшку и опять идем на работу: пни корчуем.

А после работы - как издевательство - голодных и измученных... в школу гонят, учиться!

А школа у самого кладбища стоит, и Гланюшкина могила к ней - самая ближняя. Вот она - перед самым школьным окном!

Сижу я на уроке и, как взгляну на Гланюшкин крестик, так плакать начинаю!...

Какое тут учение!...

А у них, у этих извергов, такое... добивание души – учебой называется!

У меня однажды зимой зуб разболелся. Пошла я в Ельцовку: там фельдшер зубы дергал безо всяких уколов – и то не было так больно, как эта пытка, - учеба у могилы дочери, которая... *погибла от их же учебы!*

Снова плача, мать стала аккуратно завертывать мокрые от слез кудри... моей сестры...

Может потому они и кажутся всегда свежими, что часто окропляются материнскими слезами!...

Дальше рассказывал отец:

- Пришла весна и нарушила все мои планы спасти их на коне: дорог-то там никаких нет, одни реки да болота.

И решил я туда ехать на лодке. Купил хорошо просмоленную лодку – завозню. Набрал хлеба побольше в мешки, а сверху прикрыл старой сетью, - как будто и я – чалдон.

Пока шел вниз по Оби – не боялся, плыл днем. А как прибыл в Иванкино, то тут уже, вверх по Шудельке, стал пробираться только ночами. Днем прятал лодку в кусты и где-нибудь подальше от берега укладывался спать.

На Коршане часто встречались водопады и просто завалы леса – тополяку. Силы у меня теперь было достаточно, и я каждый раз перетаскивал лодку по траве в обход водопадов и заторов.

На четвертый день пробрался таким путем до Овражного. Поставил лодку в кусты и пересидел тут до темноты.

Когда стемнялось, пошел в поселок.

Постучался в барак.

Открыла мне Паризечка и кричит назад:

- Люба! Твой Иван вернулся!

Кинулись ко мне все мои дети. Обступили меня. Глажу всех по голове. Вотони, мои ребята! И Любава за ними стоит...

Оглянулся я на нары:

- А где Гланюшка? Может, спит она?

И зарыдали они все вместе:

- Нет нашей Гланюшки!... Нет больше бедненькой!... На днях похоронили...

Упал я вниз лицом на опустевшие нары и тоже заплакал...

Той же светлой, месячной ночью сходили мы с Любавой и Шурой на Гланюшку могилку. Кладбище там на горке: совсем светло. Постояли, поплакали...

Когда возвращались к бараку, на улице нас окликнули:

- Бурматов! Вернулся??

Присмотрелся я вочных летних сумерках: стоит перед нами председатель и говорит:

- Не бойся, я тут – один! Увидел, как вы с кладбища спускались...

А сам к нам и не подходит. Тоже, видно, боится... Стоит в шагах десяти от нас и говорит:

- А я рад, что ты вернулся! У нас за зиму сани поизносился. Будешь новые сани ставить!

Думаю я сам себе: «Дал бы я тебе в «саня» под усами... за нашу дочь... за всех моих детей!...»

А он продолжает:

- Завтра сперва зайдешь к коменданту, отменишься и приступай к работе!

Ушел председатель, с опаской оглядываясь на нас.

Любава мне говорит:

- Теперь тебе и одному не уйти отсюда – не то, что всем вместе: этот гад сейчас же пришлет сюда стражников. Часовые сейчас везде вокруг поселка стоят. Как только теплые, летние ночи настали, так люди начали, крадучись, уходить из поселка. Многих, конечно, ловят и пригоняют назад. Как они тебя не схватили, когда сюда шел!

Подумал я, подумал и согласился:

- Если уж такую охоту на нас объявил комендант, то, пожалуй, и правда, - трудно будет всем нам выбраться теперь...

А Любава рассказывает:

- Когда ты зимой отсюда ушел, в то время такой буран был, такая падера поднялась! Никто из стражников и носа на улицу не показывал. А после, когда начались морозы и ясная погода – они на всех дорогах стали дежурить. Сытые, в шубах-тулупах – им и мороз ни почем! Шура тогда два раза пытался уйти следом за тобой. И каждый раз конные стрелки пригоняли назад его... с обмороженным лицом...

Посмотрел я на Шуру, а он говорит мне угрюмо:

- Возьми, отец, хоть меня с собой! Если я тут останусь, - уж точно: кого-нибудь из легавых зарублю! За сестричку мою единственную...

- Ладно, решил я, - Бежим мы пока только с Шурой. А вы, как наступит зима, перебирайтесь к кому-нибудь в другую избу, поближе к лесу, чтобы легче было потом уходить из поселка всем вместе. Вот, к

примеру, у Орловых поселитесь! Они добрые, нам не откажут.

Утром, еще до восхода солнца, мы с Шурой огородами, где ползком, где – бегом, вышли на окраину поселка.

У самого леса была кузница. Проходя мимо нее, мы увидели кузнеца *Грицана*, который уже копался в куче железа, сваленного у кузницы.

Но он, кажется, нас не узрил. А может, только сделал вид, что нас не замечает...

Потом я понял, что он нас, все-таки, видел.

Идем мы по лесной тропе. Вдруг, слышим топот копыт. Кто-то за нами на коне скакет.

Спрятались мы за кусты.

Видим: да это же Грицан!

Ну, мы вышли из-за кустов. И не зря, оказывается: кабы Грицан нас не догнал, - стражники бы нас взяли!

Остановил он коня и говорит:

- Знаешь, что, Бурматов! За вами гонятся Колька Фролов и Пашка Золин! С ружьями!

Отдал я ему последние пачки табаку, поблагодарил и только спросил у него:

- А собака – с ними?

- Нет, говорит, - собаки нет.

Мы это на вид взяли и залегли.

Видим: они идут! Быстро так идут. Прошли мимо.

Мы отползли поглубже в кусты и там просидели весь день.

Вечером, когда стемнело, пробрались к лодке и поплыли на ней вниз по Каршану. Не разговаривали и не гребли: лодка тихо плыла по течению.

К концу ночи мы были у *Мысовой*.

Мысовая стоит на *Колыгане*. Пристань. Огоньки горят. И паузок с катером стоят у причала.

И тут появилась у меня отчаянная мысль...

Если будем продолжать путь на лодке, то на Шудельке нас обязательно поймают: она там уже судоходная.

Этот паузок приходил сюда с товарами для остьков. Теперь он пойдет в Колпашево с рыбой и пушниной...

А не пристроиться ли нам к нему попутно?!...

Но как это сделать?

Оторвал я клочок материи от старой красной рубахи и повязал эту *кулайку* поверх рукава гимнастерки. Теперь можно себя выдать за активиста по поимке беглых.

Вылез я из лодки, а Шура остался в ней.

Я говорю ему:

- Следи за мной. Если меня арестуют, ты незаметно отчалиши и уйдешь. А если мой опыт удастся, то я махну тебе рукой, и ты тоже приходи туда!

Вышел я на пристань. Разбудил сторожа.

Спрашиваю:

- Не появлялись ли тут председатель Золин со стрелками?

Он говорит:

- Еще днем уехали в Инкино на лодках. Убежал у них кто-то из ссыльных.

Я говорю сторожу:

- А нас комендант послал им в подкрепление. Ты разбуди водолива и скажи: пусть он нас возьмет попутно!

Сторож пошел на паузок, разбудил водолива и сказал ему про нас.

Водолив крикнул оттуда:

- Пусть ложатся со мной рядом! Рассветет – и поедем!

Залезли мы в трюм. Легли рядом с водоливом. Но не спим. Молчим.

Утром пошел паузок вниз по Шудельке. Мы – по-прежнему в трюме.

Водолив говорит нам:

- Скоро будет Инкино. Ловите тогда своих беглых врагов народа!

Помолчал водолив, потом опять спрашивает:

- Да вы сами-то, что, в милиции там служите?

- Нет, - говорю, - мы тоже ссыльные. Только – активисты!

- И что?... Вам за это перепадает? Паек лишний дают?

- Да ничего не перепадает!

- Ха! – удивляется водолив, - И вам лично надо поймать этих беглых? А зачем? Неужели они – такие опасные враги народа?

- Да какие враги? Такие же, как и мы – грязь деревенская. Вот и втаптывают еще больше в грязь... в эти вот болота!

Водолив удивленно посмотрел на меня и сказал:

- Ну вот. А ты – ловишь! Да пусть они бегут себе на здоровье!

- А что мне скажет комендант?

- А ты доложи: не нашел!

Тут я стал осторожно вести беседу с водоливом:

- Легко сказать — доложи! Да он мне жить не даст после этого — в отместку за убеглых! Слушай... водолив! А не убежать ли нам самим сейчас?!

- Во! Вот это уже другой разговор! А то я думал, что вы — совсем запуганные и забитые! Живете в лесу — молитесь колесу!

- У нас, правда, нет денег за проезд...

- Какие деньги! Вы мне только погрузить товары кое-где поможете — вот и вся плата! Так, значит, в Инкине не будем причаливать, — Отменяется погоня?! — спросил он, посмеиваясь, — Едем мимо! — и он хлопнул меня по плечу, довольный тем, что подбил нас на побег!

А на следующий день мы были уже в Колпашеве.

- Ну, как? Привез из тайги семью? — спросил Полежаев, лишь только я появился у него в кабинете.

И, узнав о смерти дочери, умолк, грустно уставившись в пол...

Потом он открыл свой профессорский шкаф, достал оттуда графин со спиртом. Молча налил мне пол-стакана и чуть-чуть себе: я никогда не видел его выпивающим, даже в советские праздники, но сегодня понял, что это он делает ради меня: он очень сочувствовал моему горю...

Затем он снова заговорил, глядя в пол:

- Я помню, ты еще зимой собирался на коне туда ехать, да не было его у тебя. А в твое отсутствие — тебя с конем искали! Да не бойся, не чекисты! Приходила дона женщина. Муж у нее нынче умер. А занимался он частным извозом, вроде мелкого ломового извозчика. Так вот, чтобы основной фонд ее хозяйства — кобыла — зря не простоявала, — ищет эта женщина

работника-компаньона. Согласна даже отдавать половину выручки. Сходи к ней, поговори... Звать ее — Улита Тишихина. Кстати, кобыла тебе пригодится для вызволения семьи! Да, а сына куда устроил?

- Кино возит, помощник киномеханика!

- Почти по моей части. Тоже культуре, значит, служит!

Но шура недолго ездил с этим «кином». Из поездки по району вернулся наш « работник культуры» босый, оборванный и вшивый: всей выручки им с Мишней Вороновым — старшим киномехаником, хватило лишь на пропитание. А Мишка, к тому же, и попивал уже.

И вспомнил я тут про *Анискина*, к которому мне еще Семенушка Аоронов советовал обратиться.

Ты, конечно, видел фильм про *Анискина*? Кто из артистов там его играет? Жаров, кажется?

Так вот, скажу тебе: настоящий *Анискин* был по-крупнее твоего Жарова, а по весу так — двоих таких Жаровых надо!

Машин в то время еще не было. Это только в кино — *Анискин* — на машине.

А я возил его на коне.

Когда *Анискин* садился в ходок, — весь ходок качался и скрипел, как лебедка на рейде! А конь удивленно оглядывался на *Анискина* и укоризненно покачивал головой, словно собирался сказать: Эх! Рассыплется твой ходок, Иван, и не помоей вине!

И, прежде, чем ехать, я внимательно проверял, живы ли рессоры...

Шура тоже устроился у *Анискина* в гортопе пилить дрова. Теперь он был тоже на воле...

- Через день после того, как вы ушли, - вспоминает мать, - я попросила Ваньку Паризека:

- Узнай, Ваня, потихоньку среди стрелков: не поймали ли наших!

Он на другой день говорит мне:

- Нет! Сколько не гонялись - не нашли! На меня, - говорит Ванька, - комендант даже кричал: «Ты почему нам не заявил сразу, когда они пошли?» А я ему отвечаю: «Потому, что они на меня никогда не лаяли, как ты!»

Смелый был Ванька Паризек и добрый.

И с Паризечкой мы - и жили вместе, и вместе работали: косили траву-осоку по берегам болот. Ходим мы с ней по кочкам. То - косим, то - гребем. Змеи так и шелестят под ногами: туда-сюда, туда-сюда! А Паризечка - как всегда, босиком!

- И не боитесь Вы, тетя, босиком тут ходить? - удивляюсь я.

А она отвечает так нараспев:

- Та воны ж нэ проку-у-сють! У мэнэ на ногах кожа, - ек на чуботах!

И правда. Ведь ни разу не прокусили!

Какая обувка на нас, такая и одежка - стрень-брень лохмотья. И вся - на себе. Дома ничего больше нет. Попадешь под дождь, вымокнешь, а надеть больше нечего!

Вот мы и старались от дождя поскорее убраться в поселок. Только, конечно, не домой. Там, на самом краю поселка, на отшибе, у кладбища, стояла землянка, в которой жила девушка по имени Тоня. Счетоводом она работала. С ней жил мальчик - брат. Мы к ним часто от дождя забегали.

Сидим мы у нее, пережидаем дождь, а я спрашиваю:

- Как ты, Тоня, спиши тут одна? На самом кладбище? Не страшно тебе?

А Тоня мне так спокойно говорит:

- Нет, тетя Люба, не страшно... Выйду я вечером из хаты — и вот они: могилы моих родителей! Вот: отца могила! Вот: мамы могила! Разве рядом с ними может быть страшно?! А вы знаете, что тут страшно? Вот когда с крыши землянки прямо в открытое окошко ползет змея — вот тогда мне бывает страшно!

Говорят, где-то у китайцев, что-ли, по их календарю бывает *гд змеи*. Так для нас лето 1936 года как раз и было таким...

Первым, кого в то лето укусила змея, оказался самый тихий мужичонка в Овражном — Прохор Орлов. Шел он по лесной тропе. Поперек нее лежало бревно. Перешагнул он бревно, а за бревном лежала змея. Наверное, наступил он ей на хвост. Она его и хватать за ногу! Так у Прохора эта нога потом долго была распухшая, как то бревно.

Из моих ребят лишь один Сережа ходил в школу: было ему двенадцать лет.

Идет он однажды с уроков домой по поселку, а среди улицы стоит молоденькая няня из детских яслей и кричит:

- Мальчик! Мальчик! Помоги! В яслях — змеи ползают!

Схватил Сережа большой прут-холудину и бросился на помощь. А в яслях, между детскими кроватками, правда — змеи ползают! Вовремя их нянечка заметила, и

хорошо, что Сережа ей подвернулся. Прибил он обеих змей и вынес на улицу.

А Петя было уже четырнадцать лет и его заставляли работать посыльным при конторе. Часто посыпали на почту в Ельцовку. Дорожка туда шла в обход болота. Можно было ходить и короче: в самом узком месте через болото было переброшено бревно. Но я всегда просила Петю: «Не ходи, Петя, через болото по бревну! Лучше обойди кругом, хоть и дольше идти придется! Ты посмотри, как кишмя кишат в нем змеи! Тут и там их головы-крючки из воды торчат. Сорвешься с бревна, упадешь и пропал!»

В сентябре 1936 года мы еще жили в бараке вместе с Паризеками. Минька мой пошел в первый класс. Нас с Паризечкой гоняли лес пилить, а дома оставался ее младший сын Станька.

Рос у меня на окончике в горшочке цветок — бельземинка. Гланюшка его еще весной посадила. Такая красивая бельземинка выросла. Цвела летом и про Гланюшку напоминала...

А тут — вернулась я однажды вечером с работы, смотрю: лежит моя бельземинка на боку срезанная, тут же, в горшке.

Заплакала я и говорю Станьке:

- Станька! Ты зачем бельземинку уничтожил?!

А он говорит, как большой:

- *Та то ж — лысина! Ось я ее и спылыв!* Та вы не плачете, тетю! З цэй лысыны можно хату збудуваты!

Ну что с ним делать! Видит ребенок кругом одну тайгу и дома играет в эту тайгу!

С наступлением зимы, мы, как и договаривались с Иваном, всей семьей перебрались поближе к лесу: поселились у Орловых.

У них в семье самым старшим был Ванька – 9 лет. За ним – Лизка, потом Апроська, Епишка – мал мала меньше!

В войну, когда мы уже жили в Тогуре, их отец, Прохор, таскал на себе сани с рыбой в Колпашево и там сдавал. От чалдонской артели. В дороге он и умер с голоду. Нашли его на дороге мертвым, рядом с санями, груженными рыбой. Вот до чего мужик был честный! Другой бы – взял топор, отрубил кусок осетринки и сварил бы хоть для себя у хозяев на постое-ночлеге!

А Прохор так и помер с голоду у саней с осетриной! Вот каких «врагов» ссылали на Каршан и Шудельку!

От Паризеков мы, хоть и ушли, но они по-прежнему были нам как родные. Ванька Паризек пристроился вместе с чалдонами охотиться. К Рождеству он немного куропаток набил и поделился с Петей. А потом подарил Пете даже живую крольчиху.

Такой уж добрый был этот Ванюшка Паризек...

Он даже дезертиров в войну жалел. Принимал их к себе домой в большие морозы. Кормил их.

Сказывали позже люди, что работники НКВД выследили и забрали Ваню вместе с дезертирами и посадили в тюрьму. А может, и расстреляли вместе с ними, - слуху о нем больше не было никакого. Исчез – и все!

- Ну, а меня, - говорит отец, - одна мысль гложет: как спасать семью?

Нужен конь на целую неделю с лишком...

И пошел я к Улитке Тишихиной. Живет она, как купчиха: дом крестовый. Ограда большая. Конюшня крепкая. Было, говорит, раньше несколько коней, да распродала. Теперь вот — одна кобыла осталась.

Ну, я срядился с Улиткой о том, что буду заниматься мелким извозом в Колпашево и окрестных поселках, а выручку буду делить с ней пополам. Ну и корм для кобылы запасать — тоже моя забота.

А главное, думаю я себе, — есть лошадь для дальней поездки в Овражный. Теперь осталось дожидаться крепкого ледостава...

Жил я по-прежнему у Полежаева. Он знал о моих приготовлениях и даже как бы духовно поддерживал тем, что вечерами, во время осенней распутицы, сидя в своем кабинете, читал мне книги, в которых судьба людей очень уж была похожа на мою.

Он прочитал мне «Хаджи-Мурата», «Капитанскую дочку», «Кавказского пленника», «Ташкент — город хлебный», «Подлиповцев».

Только сейчас я начинаю понимать, что Полежаев рассчитливо подбирал для чтения мне эти книги. Вот как он подогревал во мне настрой во что бы то ни стало выполнить свое намерение — спасти семью!

В декабре, когда окреп лед на реке, стал я готовиться к поездке. Набрал полный мешок хлеба. Проверил сани. А Улитке сказал, что меня наняли инкинские чалдоны везти им рыбу в Колпашево.

- А мы живем у Орловых, — говорит мать, и, как прежде, нас с ребятами гоняют лес пилить.

Один только Минька в школу ходит.

Однажды вечером прибегают к нам девчонки, его одноклассницы и говорят:

- Тетя Люба! Ваш Минька в школе на последней перемене опрокинул на себя бак с водой и теперь, мокрый, боится идти домой! Он сидит во-о-он там, под мостом!

Пошла я к мосту.

Ветер-хиус дует, снег метет.

Подхожу я к мосту и кричу:

- Минька! Ты почто домой не идешь?!

А он, видно, совсем там околел. Дрожжит весь. Зубами стучит. Да мне еще... зубы пытается заговаривать:

- А я, мама, сюда от ки...ки... киминданта спрятался! Там сейчас по мосту ки...киминдант в поселок проехал!

- Да чтоб твой киминдант свалился с этого моста! Сейчас же иди домой сушиться! Ты что, следом за Гланюшкой в могилу хочешь?

Привела я его домой. Раздела. Повесила одежки над горячей печкой.

И вдруг...кто-то постучал в окно!

Подошла я, отдернула занавеску. Смотрю: стоит какой-то мужик в башлыке. В таких башлыках комендантские стрелки ходили.

Но тут он снял башлык и я узнала Ивана!

Вошел он в избу, но даже раздеваться не стал:

- Давайте, собирайтесь! На улице — метель.

Стражников нет! Самый удобный момент уходить!

Побросали мы жалкое свое бельишко в сундучишко. Как говорится, вся наша одежка — пустой куль да рогожка.

Поставили мы этот сундучок на сани. Рядом посадили Миньку. А Минька на коленях бережно ящичек держит: там сидит... крольчиха Труска – Ваньки Паризека подарок!

Ну, с богом! Перекрестились и пошли...

Вышли на лед Коршана. А там – такой ветрище поднялся! Снег со льда догола сметает.

А я всех поторапливаю: давайте быстрее идти! Ведь не зря Минька сказал, что комендант приехал: стрелки будут усердно сегодня караулить везде!

Пошли мы быстрее, почти бегом, и поскользнулась я на льду Коршана. Упала и сильно ушибла коленку.

Все. Дальше идти не могу.

Подхватили меня Петя с Сережей под руки и в таком виде пошли мы все трое за санями дальше. Впреди Иван кобылу ведет. В санях Минька сидит и держит на коленях ящик с крольчихой – все наше богатство!

А больше – и сесть-то в сани никому нельзя: кобыла от бескормицы ослабла: на всем пути вдоль Шудельки и Коршана ни одного стожка сена не встретилось!

Тогда Иван начал доставать из мешка буханки хлеба и, прямо на ходу, подкармливать кобылу.

Следующую ночь мы уже спокойно ночевали в Тебенаке, у сватов Семенушки Воронова. Когда утром снова посадили Миньку в сани, услышали, как из ящичка на его коленях доносится необычный, многоголосый писк. Оказывается, пока ночевали, - крольчиха Труска родила! Шесть кольчонков – трусенков! Все черненькие. Сама была черненькая, и дети черненькие, как галчата.

Везти дальше, замерзнут дорогой!

Пришлось оставить всю ее семью у хозяев. А те нам за это... буханку хлеба и ведро картошки дали!

Так мы и в Колпашево к Полежаеву приехали с *крольчихиным хлебом*.

И работа мне в музее тоже нашлась: мыть полы, красить, белить стены...

- А тут наступил 1937 год, - продолжает отец, - и пошла новая волна репрессий.

- Началось все с того, что таким, как мы, бежавшим из тайги спецпереселенцам, запретили работать в Колпашеве по вольному найму. И погнали нас всех до одного на лесосплав: изо льда ломом бревна выдалбливать, вручную выкатывать их на берег и укладывать в табор.

- Видишь как вышло: убежали мы из-под одной комендатуры, да попали под новую.

- И все-таки разница была: тут мы не голодовали, как на Коршане. В Тогуре можно было спокойно купить и хлеба, и рыбы...

Изба наша стояла у озера, здесь был причал чалдонских лодок. С рыбаками все чалдоны шли мимо нашей избушки и сами предлагали свежую рыбу – по рублю за ведро!

Один только Шура еще каким-то чудом оставался нелегально работать у Анискина. Но нашелся «стукач», донес коменданту о том, что Анискин пригрел у себя ссыльного бродягу. И Шуру угнали на лесосплав.

Анискину в то время было уже лет за пятьдесят. Когда началась война, всех милиционеров взяли на фронт, а его, уже пожилого, назначили участковым инспектором в Тогуре.

И тут он оказался, наверное, самым справедливым милиционером на свете!

Не зря же он так втёмнялся Липатову, что тот даже книгу о нем написал!

Я слушал отца и вспомнил Анискина таким, каким я видел его, когда приходил к нему в кабинет вместе с матерью.

За столом сидит здоровенный дядя в черной гимнастерке. Лицо его — и толстое, и одновременно — остroe, мне показалось злым. Я ждал: вот сейчас он залает на нас!

Но, как ни странно, заговорил Анискин спокойно и мягко, как бы жалея мою мать:

- Ну, что, Люба, опять тебя чалдоны притесняют? Я же знаю, как они на вас кричат: «Враги! Спецура! Уголовщина!...» Опять, наверное, последнюю грядку отняли? Мол, это все — наша земля?!

- Нет, Федя, — сказала мать, — поглаживая ладонкой край его письменного стола, — не связываюсь я с ними. Отказалась я от того кусочка земли, хоть и засадила его картошкой. Пусть готовым пользуется Агния Грозина... А я вновь вскопала на другом месте: у самой воды, у озера, и вновь посадила. И на том иле картошка хорошая выросла... Да вот горе: как ни приду утром на этот огородишко — двух рядов картошки — нет! Кто-то выкапывает по ночам...

- Ну, это просто. Договорись с соседями, чтобы тебе помогли, и карауль! Подкараулите — бейте тяпками! Но только черешками! Если зарубите — мне придется отвечать!

Мать так и сделала, как посоветовал Анискин.

В первую же ночь пошла караулить...

Часа в четыре ночи на улице, расположенной на горе, залаяли чалдонские собаки. Высокий мужчина шел по той улице по направлению к ней. Потом спустился с горы к озеру, и, оглядываясь, начал копать материну полоску, - только ботва затрещала!

А самым ближайшим к озеру был дом Семеновых.

Поползла моя мать к дому Семеновых, подобралась к окнам и постучала.

Выбежала Семениха, тоже с тяпкой, и накинулись они вдвоем на вора! Стали колотить его черешками, - как велел Анискин!

А вор вдруг изловчился и схватил тяпку моей матери. Мать ее тянет к себе, а вор - к себе!

Замахнулась Семениха своей тяпкой, чтобы ударить вора по рукам, а попала по тяпке моей матери! Хряснул черешок Семенихиной тяпки пополам. Но от удара и вор отпустил из рук тяпку моей матери.

А Семениха, оставшись без оружия, пришла в такую ярость, что кинулась с ногтями на вора и, как кошка, стала царапать ему лицо, сорвала с него шапку, и тут оказалось, что у вора от такой трепки растрепались... длинные косы!

Женщина!...

И пока наши бабы стояли с разинутыми от удивления ртами, «вор» бросился бежать по тропинке в гору. Но они его уже не преследовали...

- Да, - вспоминает отец, - Анискин был милиционер особенный. Справедливый и добросовестный. Но в 37 году в НКВД такого бы не приняли: сестра - ссыльная... Там требовались люди «чистые». И работа у них была чистая: сколько народу подчистили! В нашей де-

ревне Вороново без нас было арестовано по линии НКВД человек восемьдесят. Я не раз пробовал сосчитать, и выходит, что и на войне потом погибло столько же! И уж точно, если бы нас не выслали, то я бы угодил в это число! Как пить дать — замели бы!

Вон Любавин младший брат, ветврач Александр Германович, за язык попал... Однажды, в ноябре 1937 года вызвали его в Волкодаевку. Там начался тогда падеж скота. А Волкодаевка — само название говорит за себя: волков в окрестностях полно! Как зима — так лютуют, в поле на людей нападают!

На следующий день он возвращается оттуда, подъезжает к в кошовке в Вороновскому сельсовету. Люди, стоящие на крыльце, спрашивают:

- Как дела, Александр Германович? Не нападали на тебя волки у Волкодаевки?

А он взял и пошутил:

- Как не нападали? Целой стаей за санями гнались! Но я отложил ружье, достал из кармана карандаш с записной книжкой и кричу им: «А — ну, стой, волчье! Сейчас вас всех в колхоз запишу! Подходи по одному!» И что вы думаете? Все бросились назад, в Волкодаевку!

Дорого обошлась Александрю Германовичу эта шутка — запись волков в колхоз: забрали как контрреволюционера-агитатора! И осталась его Устинья с пятерыми детьми. А им всю жизнь тыкали в глаза: вы дети врага народа!

А забирать людей на дому по ночам у нас стали в конце лета 1937 года.

Но я к этому времени был уже — стрелянный воробей! Как только началисьочные облавы, - устроил я

себе в лесу глубоко в кустах шалаш. И каждый вечер, как бродяга, взяв за пазуху кусок хлеба, уходил туда спать. А утром, прямо из лесу, шел на работу, на лесосплав... Там, на верной каторге, никто из сотрудников НКВД никогда не появлялся.

- Все наши сыновья, - говорит мать, - на ней по-мантулили. Бесплатно... И покалечились: на Сережу обрушивался два раза табор бревен! И два раза сын мой лежал в больнице с переломами косточек... А было ему всего пятнадцать лет.

И в первый год войны все они еще там работали: на фронт их не брали – ссыльные...

- Но это только в первый год, - говорит отец, - а когда немцы окружили Ленинград, - всех начали брать!

Помню, друг по работе... Козлов, за несколько лет до войны переболел параличом – ноги от простуды отнимались... Кстати, на нашей работе – всегда можно было простудиться: всю зиму долбим лед на Кети, бревна выдалбливаляем. Я не раз проваливался при этом в реку. Долбишь, долбишь и ухнешься сам в воду. Бывали случаи: вынырнешь в ту же прорубь, куда провалился, и первая мысль – это удивление от собственной удачи, от своей фартовой судьбы: ведь, мог же и не вынырнуть в ту же прорубь!

Так вот, я – про того Козлова: в 1942 году послали нас, старых сплавщиков... «старых» - значит, это тех, кому уже за сорок... на призывную комиссию.

Прошли мы ее, как полагается, одеваемся, а Козлова нашего все еще врачи держат, велят пройтись туда-сюда по кабинету. Козлов, конечно, послушно выполняет все их указания, ковыляет по кабинету взад-

вперед. И походку строит такую дергающуюся, какой мы у него никогда не видели!

Вбегает военком и спрашивает у врачей, показывая на марширующего по кабинету голого Козлова:

- А этот чего еще тут ходит без штанов?

Врачи поясняют комиссару:

- Он говорит нам, что его «паралич расшибал»...

А военком кричит:

- Какой тут «паралич»?! *Ленинград уже окружен!*... Никаких *параличей*! Пишите: «годен» и – все!

И пошел наш «парализованный» вместе со всеми садиться на пароход «Пролетарий»! Был такой пассажирский пароход – большой, белый... Сколько он нашего брата увез тогда! Ходил он с мобилизованными до Новосибирска, а там их размещали в *Бердских лагерях*, где они проходили военную подготовку перед отправкой на фронт.

Ну, погрузились мы на пароход. Сидим.

Пароход дает отходные гудки, и тут – появляется на пристани директор нашей сплавной конторы Гребенщиков. Размахивает какими-то бумагами и весело кричит:

- Стой! А ну – причалить! Вылезай, ребята! Пикник отменяется!... Пока вы красовались голышом перед врачами, - я слетал на самолете в Томск и получил на вас, старииков, бронь. Долден же кто-то бревна катать на рейде!

- Спустились мы по трапу с «Пролетария», и Козлов наш от радости аж вприпрыжку по трапу сбегает. А мы смеемся над ним:

- Гребенщиков надежнее паралича оказался! Видели, как наш Козел скакет??!

- В другой рейс «Пролетария» и все три наших сына отправились в Бердск, - говорит мать.

Провожала я сыновей одна: Ивана с работы не пускали.

Шли мы в Колпашево пешком с большой группой таких же, как мои ребята, призванных на фронт. Все они были с нашей улицы.

И в этой компании громче всех был слышен голос Сереги Семенова. Ровесник нашего Шуры, тоже с 1918 года, такой же веселый и крепкий, любил он побольше-вичить.

И как ему не быть иззабольшиным! Ведь их семья, хоть и числилась, как мы, под комендатурой, но такой нужды и такого горя, как мы, какое нам досталось, - никогда не знала.

Они и на родине у себя жили богато: имели свой кожзавод! И в Тогуре их глава семьи – Тихон недолго таскал багор на сплаврейде: узнали, что он отличный мастер по выделке кожи и назначили заведующим местного кожзавода. А там, знаешь ли, выдается для работы с кожами уйма всяких продуктов: и мука, и спирт, и сахар, и прочая закваска. Так что – они и в ссылке не очень тужили! Оттого и Серега среди наших бедных ребят большевичил!

Вот и тут: идем мы в Колпашево, а Серега Семенов громко так рассуждает, аж на Мутьянге слышно:

- Мы с Ванькой Ячменевым на фронт не пойдем!

Правда, Ванька? А – вы?

Он обращается к моим ребятам и продолжает:

- У нас же с вами... нашу Родину отняли! Угнали сюда на кочки! Голосу лишили! Мы с вами – не граждане даже! Так какуб же еще «Родину» нас гонят теперь защищать?! Нет! Мы с Ванькой – не пойдем! Правда, Ванька?

Ванька Ячменев согласно кивал головой и поддакивал.

Но мои ребята молчали.

Пришли мы на пристань.

А там уж народу – как в Томске на ярмарке.

В центре площади – слепой Маланьин с гармошкой.

Одет он тоже по-военному: в гимнастерке, в пилотке.

И песни у него – все военные: «Прощай, любимый город...», «Двадцать второго июня...», «Оторвало мне ноженку...». Все песни так за душу берут, что люди стоят, слушают и плачут.

Но я и так уж за свою жизнь наплакалась... Вытерла слезы полушалком и, покуда еще не начали посадку на «Пролетарий», - вздумала я сбегать на базар, что-нибудь купить для ребят на дорогу...

Иду к базару, и одна забота, одна дума не отпускает: что же все-таки, мои ребята ответят Сергею Семенову?!

Купила я на базаре для них троих – три бутылки молока: больше ничем уже там не торговали.

Когда вернулась на пристань, все новобранцы были уже на палубе «Пролетария», а сам пароход – это чтобы, наверное, никто с него не убежал – стоял метрах в десяти от причала, на якоре.

И остановилась я в растерянности. Не знаю, что делать теперь с бутылками...

Рядом со мной стояли парнишки чуть моложе моих. Они, видно, тоже провожали кого-то из своих...

Эти-то ребята и помогли мне. Взяли они у меня мои бутылки и кричат на пароход:

- Эй, хлопцы! Ловите бутылки с молоком! Пере-
дайте их братьям Бурматовым! Шуре, Пете, Сереже!

И все мои бутылки благоплощенно «перелетели» на «Пролетарий»...

А я так и не узнала, что ответили мои ребята Сереге Семенову?

Спросить в письме – нельзя: военная цензура не пропустит. Сколько таких писем мы получали: строчки покрыты широкими черными полосами, проведенными кистью – как траурные ленты на письме...

И все-же все трое... писали! Аккуратно и часто. Те письма – косячки-треугольнички – сперва шли из Бердска, потом – с фронта.

И приходили страшные конверты: белые – из госпиталя, от Шуры...

А я, как получила от них первые косячки-треугольнички, так отлегло от сердца, успокоилась за своих ребят: за Серегой Семеновым они не пошли!

Сами Семеновы всю войну никакой вести не имели ни от своего единственного сына, ни о нем...

Лишь в конце войны Ванька Ячменев написал им:

«...Сижу я в заключении. А ваш Сергей находится рядом, в лагере строгого режима – без права переписки. Пришлите мне кое-что из вещей, а я ему их передам.»

И Семеновы стали посыпать посылки на имя Ваньки Ячменева...

После войны Евдокия Семенова осмелилась поехать в Бердск, чтобы уточнить самой обо всем.

Да и подозрения у нее были: Ванька систематически просил присыпать одежду и обувь... явно не того размера, что носил Сергей!

А в Бердской комендатуре ей прямо сообщили, что «... Семенов Сергей Тихонович расстрелян в 1942 году как дезертир и агитатор к дезертирству...»

Вот вам и Ванька!

Тянул из них столько лет...

Значит, их тогда еще, в 1942 году, разделили: кого – в лагерь подготовки на фронт, а кого – в другой лагерь – сибулаговский.

Петя с Сережей недолго учились в Бердске. Вскорости их отправили на фронт.

А Шуру нашего назначили там инструктором. Был он высокий, крепкий, развитой: умел с оружием разным обращаться. Еще в Тогуре они вместе с Ванькой Вороновым в военных секциях при клубе занимались. И очень хотелось ему служить в армии еще до войны, но моим ребятам, как ссыльным, путь туда был закрыт...

Вот он и стал инструктором в Бердске. Новобранцев чуть выучит, как ружье надо держать (не за дуло, а за приклад!), их и на фронт отправляют. А он опять новых учит.

За войну через этот Бердск, наверное, миллион новобранцев прошел. Люди приходят, свою одежду оставляют, надевают военную форму и – на фронт.

И вот, при этой людской первалке завелась шайка инструкторов-мародеров: стали лучшую из той кучи одежду выбирать и на Новосибирской толкучке продаивать.

Пьет, гуляет это жулье...

А новобранцы впрогольдь в лагере живут. Мечтают поскорее бы на фронт попасть: там будет твердый паек бойца. Не то, что тут: подают в обед ложку каши на тарелке – вот и вся еда.

Шура сам рассказывал: только сядет за стол, увидит эту порцию, а уже команда звучит: построиться! Хватает он ладошкой эту кашу и, - в карман. Потом уж в строю стоит и украдкой по маленьким комочкам достает ее из кармана... А карман тот после нескольких таких обедов так замусолился кашей – как котелок стал: хоть суп туда наливай!

А инструктора тем временем от жириу бесятся...

Но наш сын с ними в этих махинациях не участвовал: не так он воспитан, хоть и из бедной семьи ссыльных, как чалдоны называли нас самым для них страшным ругательным словом: «уголовники»!

Вот тебе и «уголовники»! А те инструктора – значит, честные!

Решил он тогда тайком забиться в группу уезжающих на фронт, лишь бы только из этой шайки вырваться!

Пристроился к ним Шура.

Поезд уже готов к отходу на фронт.

Идет вдоль него комендант лагеря...

И замечает Шуру:

- А ты, герой, куда собрался? А ну – слазь!

Приехал!

И учит Шура снова новобранцев, а сам опять думает, как бы вырваться отсюда...

И надумал.

Снова однажды был подан состав для отправки на фронт.

Подошел Шура, вроде бы невзначай, к вагону, где сидели военные в форме НКВД.

А он им уже был немного знаком: до этого в лагере как инструктор примелькался.

И они с ним разговорились.

И высказал он им свое тайное желание уехать на фронт. Да как только вырваться отсюда – не знает...

А те – с радостью готовы его с собой взять! Ведь он же лучший, как они сами видели, инструктор! Умеет обращаться с любым оружием... Конечно, берут!

- А комендант... не вернет меня в лагерь? – осторожно спрашивает он.

- Коменданту твоему – до нас руки коротки! – смеются энкэвэдэшники: - Ему самому положено нас бояться! Можешь даже под лавочку не прятаться! Садись смело у окошка!

И снова, перед отправкой эшелона, как обычно, обходил поезд комендант лагеря.

Заметил Шуру, сидящего в вагоне НКВД, и только сказал:

- А зря... Жил бы ты с нами... А так – пропадешь!

Потом подошел поближе и еще тише сказал:

- Ты знаешь, куда они едут? *В окруженный Ленинград!* Понял?!

С опаской оглянулся комендант на чекистов и исчез.

А Шура и вправду попал в окруженный Ленинград.

Прослужил он там несколько месяцев в войсках НКВД и в конце 1942 года был тяжело ранен. И не в бою с диверсантами, а во время артобстрела.

Рано утром, ровно в четыре часа, первый немецкий снаряд попал в блиндаж, где находился Шура...

- Ему еще повезло, - говорит отец, - что лечился он в госпитале... прямо на Невском проспекте. Оперировали лучшие ленинградские профессора: от гангрены спасли руку и ногу. В других госпиталях во время войны – это редко, кому удавалось. Чаще – отрезали при гангрене...

А после Невского – снова служба в НКВД и НКГБ, - эти носили синие погоны. Предки нынешнего КГБ...

Служил он в то время в Латвии. И был он теперь... не Шура, а Александр Иванович!

Главное – он, пользуясь положением, выписал нам вольные документы!

И стали мы *вольными людьми!*

Людьми... И убежали в Латвию.

Мать горестно вздыхает и добавляет:

- И только Гланюшка... бедная... осталась лежать в *глухой тайге*, брошенная навсегда...*могилка ее.*

Где город Ленинград...

Где город Ленинград,
был пригород Урицк,
но где же он на карте, где?
Растет наш Ленинград, и пригород Урицк
давно уже в его черте.

Но в памяти моей и до последних дней
останется навечно тот Урицк...
и мертвых, и живых
товарищей моих
я не забуду юношеских лиц.

Вот Медный всадник спит,
в мешки с песком укрыт.
У Всадника – последний наш привал.
Идем отсюда в бой
и жертвуем собой, чтоб город на Неве всегда сиял.

Мы на передовой,
наш город за спиной.
Дневной паек – три рыбьих головы.
Путиловцы-друзья –
теперь моя семья.
Похлебку варим вместе из травы.

Весь день идет обстрел.
Противник обнагел,

и из окопа головы нельзя поднять...
Но залп дает Кронштадт,
и его пушек град
врага заставит сразу замолчать...

Очнулся я потом,
и тишина кругом.
Над головой ни тучки и ни радуги,
а тишина поет,
и только плещет в борт
осенняя вода холодной Ладоги.

И вот – опять весна.
С проспекта Корзуна
на Стойкости проспект я выхожу.
А вот и монумент:
«Назад пути нам нет» –
читаю эту надпись сквозь слезу.

Вот здесь был наш отряд,
друзья погибли все...
Осталась только память на доске...

А город Ленинград
встает во всей красе
за Кировским заводом вдалеке.

Рассказ экстрасенса.

Я долго возился в засаленных картах
При трех очень тонких свечах.

И вот он пришел в смоляных бакенбардах
С огнем негасимым в глазах.

И лишь в волосах зацепились стружки:
Из гроба он только что встал...
Сказал я с волнением: - Здравствуйте, Пушкин!
Простите, что спать помешал.

Шестого июня сибирское лето
Красу открывает свою.
И в ваш день рождения просили поэты,
Чтоб взял я у вас интервью.

Погладив ладошкой свои бакенбарды,
Поэт, улыбаясь, сказал:
- Люблю я, когда современные барды
Приходят с гитарами в зал.

Сибирским поэтам – особое слово.
Их память – великая честь.
Я осень польщен, что в Сибири суровой
Свои сочинители есть.

Еще для меня здесь узнать стало лестно,
Что даже у вас вдалеке
Поэты свои сочиненные песни
На русском поют языке.

Нечасто меня к интервью вызывает
Лихая поэтов семья:
Здесь в мой день рождения стихи все читают,
Но нет ничего про меня.

Еще замечаю: у вас нынче в моде
Иные «князья» и «цари»:
Нахально гарпует верхом на народе
Жулье, торгаши-волдыри.

Волков-олигархов свирепая каста
Терзает родимую Русь.
Но нет бунтарей, нет поэтов зубастых,
И с грустью в могилу вернусь.

Кобзари.

Поезд далеко не скорый
Тихо тащит ношу,
А в окно глядятся горы
Вдоль по Черемошу.

А в вагоне очень тесно,
Но довольны лица:
Побывали в день вос-
кресный
В центре, в Черновицах.

Вот везет домой крестья-
нин
Порося-ососка,
А в турбинке у крестьян-
ки
Свежая известка.

Баба смотрит за окошко
И с тоской, и с болью,
И вздыхает: «Черемош
наш
Смыл всю бараболю...»

И вдруг пение раздалось
В глубине вагона:
Два гуцула показались,
Как одна икона.

В ней нашел сосед мой
справа
Повод для беседы:
« – То не нищие, - сказал
он, -
То святые деды!»

Сын и дед, седой и старый,
На тесемке лира,
Неразлучной ходят парой
По дорогам мира.

Дед слепой, но помнит
время,
Когда был он зрячим,
Когда ногуставил в
стремя
На коне горячем.

Но недолго гарцевал он
Вдоль Прута родного, -
Дед скончался, и отца он
Стал водить слепого.

В дальних селах побывали,
Где вела дорога,
Как пророки, завещали
Заповеди Бога.

Наступил час, и отец
Распростился с миром.
И тогда наш молодец
В руки принял лиру.

И под звуки лиры дивной
И под песнопенья
По обычаям стариинным
Принял ослепленье.

И продолжил службу
предков,
Службу непростую,
Помня тщательно и крепко
Псалмов песнь святую.
И опять идут дорогой
Кобзари седые,
Воспевая в песнях Бога
И края родные.

Вот певцов блаженных
племя,
Кобзарей незрячих.
В их глазах застыло время
На годах горячих.

Сколько бы теперь не
жили –
Старости не знают:
Юным сердцем что узрили,
То и воспевают.

Брату, совершившему подвиг.

Я – Бурматов Сергей
Уж полтысячи дней
Нахожусь я на передовой.
Мировая война
От темна до темна
Ежедневно гремит надо мной.

От нещадной пальбы,
Бесконечной стрельбы
Растянулися дни на века.
Только я не стреляю
И лишь вслух повторяю
Вам команды из штаба полка.

Ждут бойцы от меня
Наведенье огня.
Слушай точный прицел батальон!
Я – почти безоружный,
Но боец самый нужный,
Пока действует мой телефон.

В трубке вдруг... тишина
Тяжела и страшна.
Телефон – металлический гроб...
Значит, порвана связь.
Под обстрелом вылазь,
Покидай свой уютный окоп.

Где воронка, - был взрыв.

А по каске осколки: тень-тень!

Вдруг: осколок шрапнельный
Пробивает шинель мне,
Жжет мне грудь, будто он – медальон.
Провод соединяю
И сознанье теряю...
И в ушах отдаленный лишь звон....

Сквозь разрывы и пламя
Я сжимаю зубами
Голый провод, стальные концы...
А в сознании робком
Появляется Робка,
И звенят у него бубенцы.

ГБУНБ имени А.С.Пушкина



13822000090867